

МАРИНА **КРОВО** МОСКВИНА
роман

МАРИНА МОСКВИНА

КРИО

роман



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М82

Художник Андрей Бондаренко

В оформлении переплета использована картина
Владимира Стерлигова “Равновесие”,
а также фрагменты картин Анны Лепорской
и Марины Москвиной

М82 Москвина, Марина Львовна.
Крио : роман / Марина Москвина. — Москва : Издательство АСТ :
Редакция Елены Шубиной, 2018. — 604, [4] с. — (Большая проза).

ISBN 978-5-17-982893-8

Новый роман Марины Москвиной — автора “Романа с Луной”, финалиста премии “Ясная Поляна”, лауреата Международного Почетного диплома ИВВУ — словно сундук главного героя, полон достоверных документов, любовных писем и семейных преданий. Войны и революция, Москва, старый Витебск, бродячие музыканты, Крымская эпопея, авантюристы всех мастей, странствующий цирк-шапито, Америка двадцатых годов, горячий джаз и метели в северных колымских краях, ученый-криолог, придумавший, как остановить Время, и пламенный революционер Макар Стожаров — герой, который был рожден, чтобы спасти этот мир, но у него не получилось...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-982893-8

- © Москвина М.Л., 2017.
- © Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2017.
- © Стерлигов В.В., наследники, иллюстрация, 2017.
- © ООО «Издательство АСТ», 2017.

Все, что меня интересует, — это великая тайна жизни.

Кто — человек в центре толпы теней, которого я отчего-то считаю собой?

Что он здесь делает — песчинка, захваченная водоворотом имен и форм, в пространстве, которое ему явно снится? Что знает о смысле и цели он, погруженный в гущу материи и оглушенный суматохой этого мира?

Отчаяние или безумное ликование ударит в сердце или его просто смех разберет, дикий хохот, когда обнаружит он собственную версию мира настолько далекой от истинного положения вещей, буквально — никакого отношения?

И в чистоте, сияющей ясности, которая поглотит его, в пульсирующей этой живой пустоте начнет он видеть — что невозможно увидеть? Слышать — что невозможно услышать? Касаться того, к чему невозможно прикоснуться?..

Стеша мне говорила, у африканского племени химба есть слово “танаука”, оно означает крутой поворот, большие перемены. Причем это может касаться чего угодно: пустыни после дождя, внезапно разгоревшейся любви, рожденья, смерти, ну, я не знаю, боевого креще-

ния. Короче, жгучий миг, когда человек ощущает хотя бы неуловимое изменение судьбы.

— При этом химба оглядывается и смотрит на прошлое как на прекрасную реку, которая искрится вдали, — говорила Стеша. — А в конце пути, завернувшись в лучшую свою накидку, он спокойно присоединяется к праотцам, которые живы для него, у них он просил помощи и чудес на земле. Ну, и на небесах, естественно, рассчитывает на подмогу...

Вот так бы и мне, когда придет пора, вернуться в шаль с безрассудным узором, сплетенным из старых разноцветных нитей с преобладанием синей пряжи. (Я с ума схожу по синему с голубым. И не обязательно должно быть это небо, марево, море, снег, сумерки или, ну, я не знаю, — *взгляд бездонный твой, напоенный синевой...* Пусть даже стена казенного дома, больницы или милиции, если она покрашена незамысловатой синей эмульсией — мне как-то легче на душе.)

Да, вернуться в шаль, связанную из распущенного платья Стеша, хранящую по сей день еле уловимый Стешин запах, вздохнуть и взлететь — к ним, чьи тела и лица возникают передо мной подобно призракам, едва различимые в дневное время, но полностью видимые, когда опускается ночь.

Все это не так уж четко обрамлено, их присутствие можно ощутить в любое время. Просто не совсем ясно, где оно начинается и где заканчивается. Вот за этим деревом? После этого облака?

Ибо существуют моменты, когда наши глаза открыты и отдыхают на чем-то, остановившись, и каждая деталь, взгляд, слово, свет, падающий на лицо от соломенного абажура, темные деревья в окне, стук антоновки о землю, грохот нескончаемого товарняка, теплая рука Геры, возложенная тебе на макушку, Стеша, бредущая босиком вдоль Балтийского залива в синем платье, облегающем фигуру с картины Боттичелли

ли “Рождение Венеры”, хлынувшее солнце сквозь листву, когда ты взлетаешь на качелях, высокая температура и запах камфары, водочный компресс на больных ушах, бабушкин платок, накинутый на лампу, русобородый Сенька, поблескивающий очками сквозь прутья клетки с говорящим скворцом Джоном Ленноном, сосновый бор весь в снегу на станции Кратово, завьюженная электричка, июльский пруд, кувшинки, деревянная лодка, ржавые уключины, брат Ярослав, живой, сероглазый, с таинственной улыбкой, дедушка Боря и его обязательный букет чайных роз на день рождения, витебский кларнетист Иона Блюмкин – внезапно запечатлеваются в памяти.

Но не приблизиться бы, не поравняться, не прикоснуться, если б из междуцарствия, из бесконечного голубого простора, по рассеянности, как бы случайно, не послали навстречу настоящую волшебную птаху, мудрою сверчка, луговую бабочку...

И одухотворенные столь благоприятными знаками, обитатели вечного настоящего, мы переплываем часовые пояса прошлого на грандиозном трехпалубном пароходе “S.S. Еурога”, вместе с Борей (мы его звали – Ботик!), работником торгпредства СССР в Соединенных Штатах, который в октябре тысяча девятьсот тридцать четвертого года с семьей возвращается домой из Америки.

Вон он – стоит на палубе, мой бесподобный дед, в шляпе с бантом цвета темного никеля, незамятой: дно тульи параллельно линии горизонта, в длинном клетчатом пальто из прекрасного твида с завышенной талией, хлястиком и манжетами. Отутюженные стрелки брюк, удобные ботинки, повторяющие контур ступни, а поверх шнуровки – изысканные гамашы светлого сукна с ляжкой под каблук. Истинный джентльмен в четырнадцатом колене, Джек Восьмеркин – американец, наяву, а не во сне пересекающий Атлантический океан.

Облокотившись на бортик, он придерживает сидящего на перилах шестилетнего дядю Валу в черном котелке, словно какого-нибудь отпрыска заморского аристократа. Мой папа Гера восьми лет — в двубортном пальто с отложным бобровым воротником, тоже в респектабельном котелке с перехваченной лентой тульей, в чулках и лакированных туфлях, глядит исподлобья — солнце слепит глаза. И совсем юная Ангелина, немка, Ангелина Корнелиусовна Беккер, положила руки ему на плечи.

Какие виртуозные портные придали ее одеянию столь мягкий текучий силуэт? Что за уютные меха накинуты на плечи и опоясывают запястья? Какие сложные по фасону туфельки, тонкие кожаные перчатки с пряжками, фильдеперсовы чулки, которые в эпоху Великой депрессии ввели в обиход шансонетки — сестры Долли!

В России такие тонкие прозрачные чулки загорелого цвета стали носить только в конце тридцатых годов. До этого обладать подобными чулками, приобретенными за валюту в иностранных магазинах, считалось непростительной роскошью благодаря их дороговизне и непрочности. Мама говорила, с этими чулками жуткая морока: надо было их постоянно штопать на граненых стаканах или деревянных грибах, поднимать петли, следить, чтобы шов сзади был ровно расположен. К тому же после Первой мировой войны за пару импортных чулок, полученных, к примеру, бандеролью из Нью-Йорка, могли не только посадить, но и расстрелять: связь с границей — нешуточное дело. Только в тридцать восьмом году Стешиной маме, бабушке Пане, на годовщину революции подарили первые нейлоновые чулки. Вскоре началась война, все это можно было достать лишь втридорога на черном рынке. Поэтому Паня и ее соратницы из Моссовета до зимней эвакуации в Казань красили ноги чайной заваркой и рисовали шов сзади карандашом для бровей.

А моя золотая бабушка Ангелина — в тридцать четвертом — со своей сказочной фамилией и национальностью, давшей миру великого Гёте, Шиллера, Бетховена, братьев Гримм, а заодно и поэта Курта Басселя (чья жизнь и творчество двадцать лет спустя лягут в основу дипломной работы Стеши, и та ее триумфально защитит на романо-германском отделении филфака МГУ, демобилизовавшись из армии после победы над Германией), стройная, высокая Ангелина Беккер ласково глядит с фотографии, грустно улыбаясь, снятая во весь рост — в тех самых искрящихся чулках, недостижимых для простой смертной женщины! И это великолепие венчает маленькая с отворотом фетровая шапочка с кремовым перышком надо лбом.

В грузовом трюме плыли с ними в Москву три весьма габаритных предмета: радиола, холодильник и американский автомобиль “Форд”.

Длинные тени — наверное, день клонился к закату — упали на поверхность океана, вскипающего бурями. За спинами у них расстился необозримый встревоженный океан.

Ботик — сын Фили Таранды с Покровки — родился с первыми петухами на закате девятнадцатого века, в русском народе этот июльский денек звали Прокл Великие росы.

Действительно, утром на траву обильная выпала роса. Филя вынес Ботика из дома и окунул в густой речной туман, омыл от макушки до пяток росой: считается, что Прокловы росы целебны и защищают от недоброго глаза.

Через пару часов на Песковатиках из благословенного чрева Доры Блюмкиной вынырнул товарищ Ботика, Иона. Легенда гласит, что в руках его был маленький медный кларнет. И вместо традиционного младенческо-

го крика он исполнил на нем что-то предельно простое, но трогающее душу, быть может, куплет из песенки “Наплачь мне полную реку слез”, которую так любила напевать портниха Дора за своим шитьем.

Два этих поистине вселенских события произошли в славном городе Витебске — на ветру, на холмах, где и правда все летело: речка, мост, дорога, узкие улочки, заросшие подорожником и лебедой, кабаки с жестяными вывесками, разукрашенные пенящимися кружками и курицей на вертеле, высокая белая церковь на Соборной площади, первая пропускная баня, плуговой завод, игольная фабрика, шляпочное кустарное предприятие — Володарского, дом восемь, кружок по изучению критики чистого разума Канта — Зеленая, пять, приют для малолетних преступников на Богословской, общественные прачечные, тюремная библиотека при губернской тюрьме, балетная студия на Верхне-Петровской улице...

— Витебск. Это, знаешь, очень обаятельный город, — говорил мне Ботик. — В отличие от Минска...

— К тому же речной простор — неперемное условие для города летящего... — подхватывала Стеша. — Холмы. И река. И тебе обеспечен поэтичнейший фундамент для любых диалогов, объяснений в любви и прочее...

Действительно, в связи с общей покатостью и взгорбленностью ландшафта дома выглядели как на картинах Шагала; тот появился на свет на тех же Песковатиках, а после очередного пожара всей семьей они перебрались на Покровку.

Ботик показывал мне в альбоме репродукций своего прославленного соседа, каким-то чудом раздобытом Стешей в ознаменование семидесятилетия Ботика, их скособоченный дом, обнесенный покосившимся забором, и точно такое жилище Ионы; только перед калиткой Фили Таранды бродила голубая коза, а у Блюмкиных об угол забора чесались свиньи.

Надо ж было такому случиться, что прямо на Прокла с его немереными росами в маленьком деревянном доме позади тюрьмы на окраине Витебска вспыхнул пожар. Огонь охватил весь город, что случалось довольно часто и до и после столь знаменательных происшествий.

Отец Ионы — Зюся, представьте, скрипичный мастер, решил вывезти с поля солому на подстилку их чалой коровке. По дороге солома загорелась. К счастью, неподалеку высилась пожарная каланча. Туда и помчался Зюся на пылающей колеснице, запряженной соседским меринком Капитоном, надеясь, что пожарные помогут спасти хоть что-нибудь из его добра. Однако, захваченные врасплох, те не сумели справиться с пламенем, так что вместе с соломой сгорела и телега, и пожарная часть города Витебска.

Другой мой дед, Макар Стожаров, явился на свет в глухих Сыромятниках на берегу речки-вонючки Язуы в одноэтажном бараке, благородно именуемом “спальней”, хотя это была заштатная ночлежка для беспорточников и голодранцев, которые в рабочей слободе встречаются на каждом шагу и вместе с дымом, унылым кирпичом и известкой составляют неотъемлемый компонент украинного московского пейзажа.

В “спальне” ютились сорок человек — в основном рабочие красильной фабрики, но попадался и ремесленный люд: мастеровые, прачки, грузчики, матросы буксирных пароходов, пара стекольщиков, был даже один дровосек по имени Порфирий Дардыкин.

На общей кухне варили постные борщи и картошку жены семейных обитателей. Дарья, супруга Макара Стожарова, кроткая, молчаливая крестьянка на сносях, славилась каким-то особенным картофельным пирогом с хрустящей корочкой. Их старший сын Вавила, мечта-

тельный подросток, трубивший на заводе Гужона, всегда забегал в обед отведать ее пирога. Вскоре он станет народо-довольцем. Как сложится его жизнь, мы не знаем — нет в сундуке у Стожарова об этом никакой информации.

Средний брат Ванечка, судя по его письму и черно-белой открытке с портретом Подвойского, присланным Макару в тридцать девятом году из Хабаровска, пережил множество бед и невзгод. А пока целыми днями слонялся на пустыре за сараем с деревянным мечом, рубил крапиву и лебеду.

В пять утра над рабочей слободкой в дымном масляном воздухе дрожал фабричный гудок. Послушные этому зову, жители Сыромятников отбывали на заповедные промыслы — кто в мастерские, кто на красильную фабрику или, как мой дремучий предок Макар Макарыч, в форменной фуражке с алюминиевой бляхой и пластмассовым козырьком, — к вокзалу.

Около полуночи закатывались в какой-нибудь захудалый трактир — пили, курили, сквернословили, устраивали пьяные потасовки, пока совсем не выбивались из сил, падали на лавки и забывались мертвецким сном.

В такой канонической трущобе Макар выкарабкался из вечности и, потрясая миллиарды миров, испустил торжествующий вопль, который пробился сквозь грохот вагонных колес и тягучие гудки паровозов; даже носильщик Стожаров с Курского вокзала услышал и причался с чужим чемоданом на закорках!

Его рождение, Стеша говорила, сопровождалось многочисленными благоприятными знаками. В небе сияло множество радуг и пролился целый дождь из цветов.

Несколько месяцев не умолкал этот горлопан, сводя с ума родную ночлежку, так вопил, что дребезжало единственное стекло в окне, хорошо, остальные рамы были заделаны тряпьем и бумагой; от рева сотрясались нары, стены и потолок ходили ходуном, звенели в ста-

канах ложки, распахивались створки шкафов, оттуда вываливались на земляной пол кастрюли и тарелки, нарушая отдых и без того изнуренных, пришибленных жизнью людей, лишая надежды на воскрешение потертых сил и возрождение утраченных соков.

Чтобы унять младенца, Стожаров давал ему тяпнуть винца и по христианскому обычаю окунал с головой в Язу.

– Макарыч, да ты там его попридержи! – дружелюбно советовали ему обитатели ночлежки.

А ночью слышался неодобрительный ропот, брань, дело чуть ли не доходило до рукоприкладства:

– Заткни глотку, Дарья, своему рыжему черту!!!

В полном беспамятстве Дарья Андреевна молила Архангела Михаила Грозных Сил Воеводу, чтобы тот прибрал беспокойную душеньку Макара.

Но Архангел Михаил не внимал ее молению, хотя отлично знал, сколько от младшего Стожарова еще будет шума и треска.

Мой прадед Филя был горшечник, на его плошки, кувшины с горшками слетались порой не только соседки со всей округи – тетушки Гутя, Шая, Ривка, Амалия, Мира, Агнесса: из-под верхней юбки торчит нижняя, из-под одной косынки другая, из-под пятницы суббота, белозубые улыбки, в волосах запутались гребни и шпильки, – жены булочника, извозчика, мясника и грузчика, что опять же детально отображено на полотнах всемирно известного очевидца их полетов, но и прибывали гонцы от более важных персон, таких как писмоводитель Виктор Бонифатьевич Климаневский, городничий штабс-капитан Леонард Иванович Готфрид, бургомистр, коллежский асессор, уездный казначей, титулярный советник – весь высший свет Филя обеспечивал своей продукцией.

Даже секретарь городского старосты Елеазар Вениаминович Блюдоху высоко ценил Филину утварь и отправлял за его гончарными изделиями свою почтенную супругу Евну Иоселевну Шапиру. Нет смысла говорить, что уездный стряпчий Болеслав Федорович Штромберг затоваривался только у нашего Фили.

Сколько лет прошло с той чудной поры, когда мне Ботик с гордостью перечислял эти достославные фамилии. Боря припоминал, что и Хазя Шагал, селедочник, со своей крохотной женой Фейгой тоже накупали у них горшки, когда перебрались с Песковатиков на Покровку.

Фейга любила поговорить, и вот они подолгу судачили с моей тихой и кроткой прабабушкой Ларочкой. Фейга места не находила: ее сын, Марк, вздумал стать художником.

— Да ты спятил! — она ему говорила. — Что скажут люди???

Тот ехал на трамвае вниз к Соборной площади и увидел вывеску: “Школа живописи и рисунка художника Пэна”.

Марк уговорил Фейгу поехать с ним к Пэну, вот они заходят — на стенах развешены портреты: дочь градоначальника Пржевальского, дородная супруга, а рядом и сам Викентий Феликсович, по слухам, даже на ночь не снимавший с груди серебряную медаль “За усердие”. Портрет главы сиротского суда Евстафия Францевича Цитринко, штатного врача богоугодных заведений Артура Самсоновича Шоппо, да что Шоппо — бери выше! — уездный предводитель дворянства капитан Игнатий Имануилович Дроздовский, кавалер ордена Святой Анны третьей степени, заказал Пэну свой парадный портрет.

Фейга впервые очутилась в мастерской художника, она озиралась по сторонам боязливо, оглядывала портреты, вдруг ей бросилась в глаза картина, где лежала обнаженная натурщица.

— Такой срам! — рассказывала Фейга Ларочке. — Я вся вспыхнула, спрашиваю: “Это кто?..”

А художник Юрий Моисеевич Пэн, экстравагантная личность в длинном сюртуке, карманные часы на цепочке, светлая борода клинышком, потупился и ответил, смущенно улыбнувшись:

— Это я.

До трех с половиной лет Стожаров немотствовал. Лишь на четвертый год из уст его изошло Слово. Да не одно, а, можно сказать, четыре.

В тот памятный день Макар неожиданно куда-то смылся. Дарья искала его по всем баракам на пустыре, звала, плакала, пока Макарка в рубахе до колен не явился к ужину.

— Где ты был? — она вскричала для порядка, не ожидая ответа.

На что он неожиданно отозвался, четко артикулируя:

— Я резался в карты.

После этого случая маленький Макар стал записным говоруном.

В сатиновой рубахе, которую Вавила в свое время передал Ивану, а тот со своего плеча пожаловал Макару, босой, веснушчатый, худой, стоял он, окруженный сверстниками, полунемыми и кособокими, и потчевал их бесконечными сказаниями — про Сарай и Пустырь.

Мол, ихний сарай — не просто сарай, а *караван*-сарай, который брел, брел по пустыне, потерял дорогу домой, заблудился и осел здесь на диком пустыре.

— Видите, — говорил Макарка, — у сарая торчат из углов бревна — это его ноги, их обрубил мужики, пришлые плотники, что строили здесь церковь, когда увидели из-за вон той березовой рощи медленно ползущий сарай, они не испугались, а вышли вперед и топорами подрубили ему ноги. Вот он и осел здесь, охнул,